

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕОРГ

Леонид Владимирович Георг принадлежал к тем старым «учителям словесности» в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX в., которые были подлинными «властителями дум» своих учеников и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то девчоночьим обожанием.

Именно эти старые «учителя словесности» формировали не только мировоззрение своих учеников, но воспитывали в них вкус, добрые чувства к народу, интеллектуальную терпимость, интерес к спорам по мировоззренческим вопросам, иногда интерес к театру (в Москве — к Малому театру), к музыке.

Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога. Он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находить педагогические выходы из самых иногда затруднительных для воспитателя положений.

Расскажу об этих его качествах.

Его появление в коридоре, на перемене в зале, в классе, даже на улице было всегда заметно. Он был высок ростом, с лицом интеллигентным и чуть насмешливым, но при этом добрым и внимательным. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица (может быть, чуть коротковат был нос, хотя правильная его форма скрадывала этот недостаток), он сразу привлекал к себе. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые и где было взять это новое на скромное учительское жалование!

Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего агрессивного не было и в его мировоззрении. Ближе всего он был к Чехову — его любимому писателю, которого он чаще всего читал нам на своих «заместительских уроках» (т. е. уроках, которые он давал вместо своих часто хворавших тогда товарищей-педагогов).

Эти «заместительские уроки» были его маленькими шедеврами. Он приучал нас на этих уроках к интеллектуальному отношению к жизни, ко всему окружающему. О чем только не говорил он с нами! Он читал нам своих любимых писателей: я помню чтение «Войны и мира», пьес Чехова («Чайки», «Трех сестер», «Вишневого сада»),



Леонид Владимирович Георг

рассказов Мопассана, были «Добрыня Никитич» и «Соловей Будимирович» («Добрыню Никитича» Леонид Владимирович читал на родительском собрании для родителей — их он также воспитывал), «Медного всадника»... Всего не перечислишь. Он приходил в класс с французскими текстами и показывал нам, как интересно учить французский язык: он разбирал рассказы Мопассана, рылся при нас в словарях, подыскивал наиболее выразительный перевод, восхищался теми или иными особенностями французского языка. И он уходил из класса, оставляя в нас любовь не только к французскому языку, но и к Франции. Стоит ли говорить, что все мы после этого начинали, как могли, изучать французский. Урок этот был весной, и помню, что я все лето

потом занимался только французским... На иных своих «заместительских уроках» он рассказывал нам о том, как он слушал Кривополенову, показывая, как она пела, как говорила, как делала во время пения свои замечания. И все мы вдруг начинали понимать эту русскую бабушку, любить ее и завидовали Леониду Владимировичу, что он ее видел, слышал и даже разговаривал с ней. Но самыми интересными из этих «заместительских уроков» были рассказы о театре. Еще до выхода в свет знаменитой книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве» он нам рассказывал о теории Станиславского, последователем которой он был не только в своей актерской практике, но и в педагогике. Его рассказы о постановках и знаменитых актерах как-то органически переходили в занятия по той или иной пьесе, которую он великолепно ставил с учениками в школе. Постановка «Маленьких трагедий» Пушкина была его огромным успехом не только как педагога, не только как великого режиссера (я не побоюсь назвать его именно «великим»), но и как художника-декоратора. Из цветной бумаги вместе с помогавшими ему учениками он создавал необычайно лаконичные декорации к своим постановкам. Помню в «Каменном госте» черные или какие-то очень темные (зеленые? синие?) кипарисы в виде остроконечных конусов, белую колонну в каком-то интерьере — тоже вырезанную из бумаги, которую мой отец добывал ему из отходов на «Печатном Дворе», где мы тогда жили.

Помню, как он воспитывал в своих учениках актеров. Это был именно его прием — прием режиссера-воспитателя. Он заставлял своих актеров носить костюм своей роли в обыденной жизни. На уроках сидел Дон Гуан, загримированный, в испанском костюме и со шляпой, сидела Дона Анна в длинном платье. А на переменах они гуляли и даже бегали, но только так, как должен был бы бегать Дон Гуан или Дона Анна в какой-то сложной воображаемой ситуации (актер должен был играть все время, но если он хотел порезвиться или сделать что-либо необычное для своей роли, он обязан был придумать мотивировку, создать себе соответствующую «ситуацию»). Носить платье Леонид Владимирович учил прежде всего — прежде, чем входить в роль. Актер должен был чувствовать себя совершенно свободно в плаще, в длинной юбке, свободно играть шляпой, уметь ее небрежно бросить на кресло, легко выхватить шляпу из ножен.

Незаметно Леонид Владимирович следил за таким костюмированным учеником и умел его поправить одним или двумя замечаниями, сделанными всегда тактично и с необходимым юмором.

Леонид Владимирович был поклонником психолога Джемса. Помню, как хорошо объяснял он нам положение Джемса: «Мы не оттого плачем, что нам грустно, но потому грустно, что мы плачем». И это положение он сумел применить в своей педагогической практике. Одному крайне застенчивому мальчику он предложил изменить походку. Он сказал ему, чтобы он двигался быстрее, делал шаги шире и непременно размахивал руками, когда ходил. Встречая его на перемене, он часто говорил ему: «Машите руками, машите руками». Кстати, он обращался к ученикам на «вы», как это было принято в старых гимназиях, и редко отступал от этого правила. Он воспитывал в своих учениках самоуважение и требовал от них уважения к другим, к своим товарищам. Разбирая какое-нибудь происшествие в классе, он никогда не требовал, чтобы ему выдали зачинщика или виновника. Он добивался того, чтобы провинившийся сам назвал себя. Выдать товарища было для него недопустимым, как, впрочем, и для всех хороших педагогов старого времени.

В мое время (тогда я учился в Лентовке — так называлась наша школа) у Леонида Владимировича был тенор. Впоследствии у него «открылся» баритон и, говорят, довольно хороший. В те времена в каждом классе стоял рояль, из реквизированных у буржуев. Леонид Владимирович подходил к роялю и показывал нам на нем то особенности музыкального построения у Чайковского, которого он очень любил (в те времена было модно любить Чайковского, и Леонид Владимирович посмеивался над этой модой), то тот или иной мотив былицы (помню, как он пел зачин к былине «Соловей Будимирович», рассказывая об использовании этой былины в «Садко» Римского-Корсакова).

С дурными привычками или безвкусицей в одежде учениц Леонид Владимирович боролся мягкой шуткой. Когда наши девочки повзрослели и стали особенно следить за своими прическами и походкой, Леонид Владимирович, не называя никого из них по имени, рассказывал нам, что происходит в этом возрасте, как девочки начинают ходить, вихляя бедрами (и рискуя, по его сло-

вам, получить «вывих таза», им, конечно, придуманный), или устраивают себе кудельки, и в чем состоит вкус в одежде. Он даже читал нам в классе о Дж. Бреммеле из книги М. Кузьмина «О дендизме», но не для того, чтобы восславить дендизм, а скорее для того, чтобы раскрыть нам сложность того, что может быть названо красивым поведением, хорошей одеждой, умением ее носить, выпутать фатовство и пижонство у мальчишек.

Пятьдесят пять лет прошло с тех пор, но как много запомнилось из его наставлений на всю жизнь! Впрочем, то, что он говорил и показывал нам, нельзя назвать наставлениями. Все говорилось ненамеренно, при случае, шутливо, мягко, по-чеховски.

В каждом из учеников он умел открыть интересные стороны — интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать об этом от других! Он помогал каждому найти самого себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом нравственную (доброту или любовь «к маленьким»), в третьем — вкус, в четвертом — остроумие, но не просто остроумие, а умел охарактеризовать особенность его остроумия («холодный остряк», украинский юмор — и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал философа и т. д., и т. п.

Мой друг Сережа Эйнерлинг увлекался в школе Ницше, а другой друг Миша Шапиро — О. Уайльдом. Разумеется, Леонид Владимирович знал об этих увлечениях и как-то рассказывал в классе и о Ницше, и об Уайльде. Он показывал ценные стороны их отношения к действительности, но так, что нам всем становилось ясным: тот и другой интересен, но нельзя ограничиваться ими. Надо быть всегда шире своих учителей. Он помог моим друзьям сойти со своей «мировоззренческой платформы», оставшись при этом благодарными своим мальчишеским кумирам.

Для самого Леонида Владимировича не было кумиров. Он с увлечением относился к самым разнообразным художникам, писателям, поэтам, композиторам, но его увлечения никогда не переходили в идолопоклонство. Он умел ценить искусство по-европейски. Пожалуй, самым любимым его поэтом был Пушкин, а у Пушкина — «Медный всадник», которого он как-то поставил с учениками. Это было нечто вроде хоровой декламации, которая была по-

ставлена как некое театральное представление, главным в котором был сам текст, пушкинское слово. На репетициях он заставлял нас думать — как произнести ту или иную строфу, с какими интонациями, паузами. Он показывал нам красоту пушкинского слова. И одновременно он неожиданно показывал нам и пушкинские «недоделки» в языке. Вот пример, запомнившийся мне с тех времен: «Нева всю ночь || Рвалась к морю против бури. || Не одолев их буйной дури... || И спорить стало ей невмочь...».

Такие же недоделки, если не ошибки, умел он пайти в самых известных произведениях живописи, скульптуры, музыки. Он говорил как-то, что у Венеры Милосской ноги чуть короче, чем следует. И мы это начинали видеть. Разочаровывало ли это нас? Нет, наш интерес к искусству от этого возрастал.

Леонид Владимирович был очень широк в своих эстетических вкусах. В нашей школе учились некоторые из будущих «обериутов». Как сейчас помню Александрова. Уже окончив школу, он пришел как-то на заседание школьного литературного кружка и читал там свои замные стихи. Леонид Владимирович с очень большим интересом отнесся к его стихам и, выбрав в одном из них самую бессмысленную строку, со смехом и одобрением ее повторял, а потом в этой строке повторил одно только самое в них «острое» слово — «воротнички».

В школе Леонид Владимирович организовал самоуправление КОП (я уже забыл, как расшифровывается это сокращение). Я почему-то очень был против этой «лицемерной», как мне казалось, затеи. Я доказывал в своем классе, что настоящего самоуправления быть не может, что КОП не годится и как некая игра, что все эти заседания, выборы, выборные должности — только напрасная потеря времени, а нам надо готовиться поступать в вуз. Я как-то стал вдруг действовать против Леонида Владимировича. Моя любовь к нему почему-то перешла в крайнее раздражение против него. Весь класс наш отказался принимать участие в КОПе. Мы не ограничились этим, но агитировали и в других классах против КОПа. Леонид Владимирович сказал по этому поводу моему отцу: «Дима хочет показать нам, что он совсем не такой, каким он нам представлялся раньше». Он был явно сердит на меня. Но в класс он к нам пришел как всегда спокойный и чуть-чуть пасмешливый и предложил нам рассказать ему

все наши мысли по поводу КОПа, внести свои предложения. Он терпеливо выслушал все, что мы думали о КОПе. И он нам не возражал. Он только спросил нас: что же мы предлагаем? К позитивной программе мы были совершенно не готовы. И он помог нам. Он обратил внимание на те наши высказывания, где мы признавали, что в школе некому выполнять тяжелые работы, некому пилить дрова, некому таскать рояли (почему-то приходилось часто переносить рояли из одного помещения в другое). И он предложил нам: пусть класс не входит в КОП, пусть он будет организован так, как он хочет, или даже не организован вовсе; но пусть класс помогает школе в тяжелой работе, на которую нельзя нанять людей со стороны. Это оказалось для нас приемлемым. Конечно, мы были в школе самые старшие и самые сильные; конечно, мы не могли допустить, чтобы девочки из младших классов выполняли за нас трудные работы. Мы будем все это делать, но мы не хотим никакой организации. Леонид Владимирович сказал на это: «Но назвать вас все же как-то надо?». Мы согласились. Он тут же предложил: «Давайте без претензий: „самостоятельная группа“, или короче — „самогруппа“». Мы согласились и на это. Таким образом, незаметно для нас он прекратил весь наш «бунт», и мы вошли в школьное самоуправление как его очень важная и действительно ценная часть.

Жил Леонид Владимирович тяжело. Педагоги получали тогда очень мало. Иногда устраивались в их пользу концерты. Леонид Владимирович долго отказывался, но однажды и в его пользу пришли в школу играть знакомые ему актеры.

Приходилось ему и читать лекции в совсем непривычной ему аудитории. Однажды в Ольгине, где мы жили на даче, появились объявления о том, что будет дан концерт из произведений Чайковского, а вступительную лекцию прочтет Л. В. Георг. Концерт был в жалком театральном помещении, которое не использовалось еще с 1915 г. Слушатели явно не понимали лекции, и нам было очень жаль Леонида Владимировича.

Вскоре после окончания мной школы он заболел, кажется, сыпным тифом. Болезнь испортила сердце. Я встретил его в трамвае, и он мне показался потолстевшим. Леонид Владимирович сказал мне: «Не располнел, а распух я!». Затем наступила пора, в которой Леонид

Владимирович являлся нам, его ученикам, только в воспоминаниях. Более полувека помню я его так ясно, как никого из других своих учителей.

(Аврора, 1981, № 9, с. 100—107)